



Дмитрий
ВОДЕННИКОВ

с н ы о ч у н е

Дмитрий Борисович Воденников

Сны о Чуне

Серия «Уроки чтения (АСТ)»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=49792263
Сны о Чуне : [эссе] / Дмитрий Воденников: АСТ; Москва;
ISBN 978-5-17-118543-5

Аннотация

Дмитрий Воденников – известный поэт и блестящий эссеист, автор и ведущий, хозяин таксы Чуни, за жизнью которой вот уже несколько лет следит весь *Facebook*.

В «Снах о Чуне» – концентрация слова и мысли. Воденников шутя рассказывает о главном и важном, для себя – в частности, и для всех нас – в общем: о гениях и простых радостях, о боли и вечных ценностях, о любви и том человеческом (а иногда и собачьем), что есть в каждом.

Книга иллюстрирована графикой Арины Обух.

Содержание

Сон вместо предисловия	5
Бедная моя царевна	11
Чуня и щи	28
Чуня и страх	33
Чуня и Павел I	38
Чуня слепнет	42
Жозефина Тауровна, или Почему у Чуни два имени	46
Чуня и сладкое	56
Чуня и дядька	64
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Дмитрий Воденников

СНЫ О ЧУНЕ

*Твоя слепая собака, бегущая не к тебе,
а к миске, когда ты пришел домой,
и виляющая ей хвостом, – всё,
что тебе надо знать о любви.*

Сон вместо предисловия

– Чу-у-уня, – говорит мой товарищ, зайдя к нам в гости и глядя Чуню, – ты мне сегодня снилась. Мы гуляли с тобой по городу, ты бросилась в Москву-реку, и рыба откусила тебе хвостик. Я повез тебя в клинику и забыл на остановке.

Вот такие сны снятся людям про Жозефину Тауровну.

Почему я не удивлен?

Чуня полна тайны, которую я не хочу разгадывать. Она темный омут, в который мне лень глядеться. Чуня – бермудский треугольник смысла. Чуня = сон.

Поэтому она и спит полдня.

Я тоже сплю. И мне снятся тревожные сны. От снов не защититься, их не избежать. Только записать. Вот я и записываю. Кто-то заметил: «Главный звук, связанный с женщиной в литературе XIX века, – шорох платья. Тогдашние женские наряды были ужасно шумные в силу особенностей тканей и пошива». Главный же звук моего дома в зимнее время – звук шарика, роняемого в потолок. Что там бросают соседи себе в пол, мне неизвестно. Но я этот шарик слышу: скок, скок. Пройдет минута. Опять: скок, скок. Звук никого не беспокоит, кроме меня. Чуня невосприимчива, она не слышит. Чуня забралась не под мое одеяло и спит. Обидно, но она давно спит не со мной. Ну вот такой ее осознанный выбор. Забирается под чужое одеяло и спит. Если ее отко-

пать, разозлившись, перетянуть одной рукой к себе, то она смирится, конечно, но уже через три минуты выползет, прокрадется вдоль меня к изножью, перевернется через бархан одеяла и опять пойдет спать не ко мне.

И тогда ночью ко мне приходит кошмар. Это не из-за нее. Кошмар просто сам по себе.

Знатная татарка когда-то научила, – написал мне однажды человек, когда утром я о таком вот ночном кошмаре рассказал. – Если страшный сон приснился, надо посмотреть в окно и сказать три раза: «Куда ночь, туда и сон». А если совсем жуткий, то надо открыть холодную воду и шепотом рассказать льющей воде краткое содержание сна. Ну и совсем проверенное, – добавил он, – сказать три раза: «Сон к добру!» Я в зависимости от тяжести сна применяю различные комбинации этих заклятий.

А другой человек в комментариях написал:

Где-то читал, что кошмары помогают мозгу проводить капитальные ремонты. Чтобы отремонтировать компьютер, его нужно выключить. Полностью выключить нельзя, ремонтировать включенный опасно, но он умеет включить нам оцепенение ужаса на время и разобраться со всеми проблемами. Так что это полезно.

Я ни разу холодную воду не открывал, ничего ей не вышептывал, но в общую полезность дурных сновидений верю. В начале нашей совместной жизни с Чуней в полезных кош-

марах принимала участие и она сама.

Мне снилось, например, что я случайно выпускаю ее из машины, в которой нас везут, и машину нельзя остановить (очень плотный поток), Чуня бежит в ужасном отчаянии за мной, а уже ничего не изменить, она все дальше и дальше, ее почти не видно, только черная точка на серой обочине. Итог – я просыпаюсь в слезах. Впрочем, теперь она в сновидениях не участвует, отснились эти заполошные сны. Должен кончиться и этот сегодняшний: наступит утро, пора вставать. И тут Чуня снова любит меня. Она возвращается с чужой половины кровати и начинает ластиться ко мне, вилять хвостиком, играть. Прямо как щенок. Но меня не обманешь. Я-то знаю: это значит, что Чуню пора кормить.

Но сперва ее надо выгулять. «Чуня, иди на лоток!» – говорю я. Я ее с детства приучил ходить на лоток с газетой, это отдельная история, как мы намучились; может, когда-нибудь и расскажу.

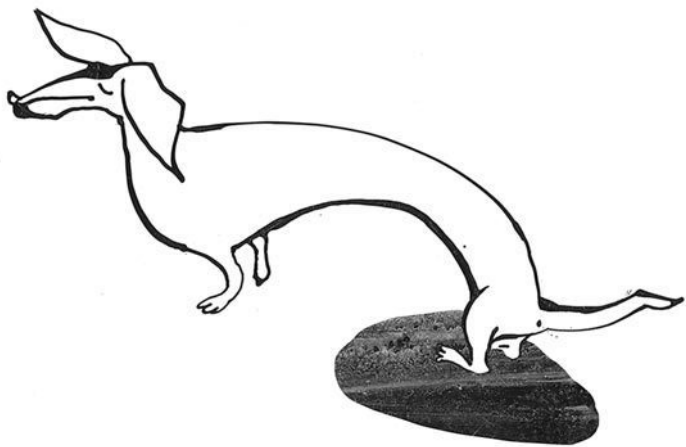
Она плетется туда, к лотку, в сортир, и останавливается на пороге. «Иди писать!» – говорю я. И щелкаю пальцами. Это последний сигнал, она его, собственно, и ждет – после этого она заходит. (Задев плечом дверь: дверь она теперь видит плохо, старческая слепота.) И потом стоит с тупым видом там. Как будто думает.

О чем она думает? О диких прериях? О косуле? О лисе? О своей женской доле?

– Если ты сейчас не будешь писать, я дам тебе по задни-

це! – кричу, потеряв терпение, из кухни я. Вообще, я кричу грубее, но будем считать, что «по заднице». Жизнь груба, это еще Нина Заречная заметила. Наша жизнь грубее втрое.

Только тогда – после крика – Чуня начинает устраиваться. (Собственно, так я и понимаю, что она не писает, – по звуку: она не шуршит. А тут зашуршала. Кружит, кружит, беспокоит газету, ерзает; наконец тишина. Значит, устроилась. Я иду в коридор, открываю дверь и смотрю, как она писает в лоток.)



Стыдно сказать, но в эти моменты она всегда еще изворачивается и пьет собственную мочу. Собачка у меня стран-

ная, с придурью, инопланетянка, но, собственно, за это ее и любит мир. А она его – нет. Она никого не любит.

– Мы будем сегодня читать Гофмана? – спрашивает снизу она.

– Будем, – отвечаю я. – Но сперва мы помоем тебе лапы. Смотри, какая тут на лотке лужа. Ты вся запачкалась.

С этими словами я поднимаю ее на руки, несу в ванную, ставлю в ванну и мою ей лапы и хвост. Чуня не любит воду, поэтому она настороже. Но утопление собачки временно откладывается. «Уф, пронесло», – думает Чуня.

Потом я вытираю ее полотенцем и, отпустив на все четыре стороны, собираю газету в комок и отношу в мусор. Чуня, отпущенная на все четыре стороны, всегда выбирает одну: идет обследовать темную зимнюю кухню. (Чего ей эта кухня? Почему сейчас?)

– Чуня, – говорю я. – Кстати, мы забыли тебе закапать в глаза!

И тут Чуня бежит.

Из темной кухни, через коридор, стучаясь о предметы (она же слепая), мимо табуретки и обуви, в комнату, туда, туда, в спасительное тепло (как будто оно кого-то может спасти), пробегает половину освещенного торшером угла кровати и прыгает в полежку. Причем прыгает не добегая. Прыжком оленя. Одним прыжком яростного живого существа, спасающегося от тигра.

И, что любопытно, всегда попадает.

Если где он и есть – этот странный летающий дом,
с занавеской и ветром в кровати, – лихой
и горбатый,
то он был только там, где мы спали с тобою вдвоем,
как с отцом, как с сестрой, как с лисой, как с собакой
и с братом,
через стенку с Васильевной Анной (соседкою) —
в сердце моем.

Бедная моя царевна

В детстве было скучно, когда дождь. Когда гроза – нет, не скучно: я ее любил. А вот когда зарядит на несколько дней, мелкий такой, то пойдет, то перестанет – вот это скучно.

Особенно на даче.

Сидишь, томишься, смотришь в окно. Тикают часы, шелестят старые газеты, бьется муха о стекло, смотрят со стен три медведя с картинки. Придет соседская собака Белка, запахнет в комнатах мокрой псиной. (Мне нравится этот запах.) Но сколько с мокрой собакой поиграешь? Да и она небескорытна. «Есть сахар?» – «Нет». – «Досвидос».

Выйдешь ее провожать во двор, в заросли сирени или в лесок. Чав-чав, чавкают резиновые сапоги. Кап-кап, капает с сирени или с леска на дождевик. Белка убежала, махнула на прощание хвостом. Прощай, неудачник, у меня таких, как ты, на каждом участке, и у них есть сахар! Ужасная тоска.

А сейчас не скучно.

Это меня всегда удивляло во взрослых. Сидят в дождь, не мывшиеся целую неделю, лото, там, раскладывают или чай пьют. Попили чай – поспали. Поспали – телевизор посмотрели, обсудили Брежнева. Как их печаль не берет?

Пахнет из старого шифоньера духами «Красная Москва» и «Тройным» (хорошо от комаров), бабушкиной пудрой и тленом; посидишь в бабушкиной комнате, согласишься пол-

часа на плачущий сад за окном, опять пойдешь через мекающего Брежнева во двор. Там траншея. Это только в жаркие дни она траншея, а когда наполняется водой – могила. Вот мышка в ней утонула; если очень повезет, то целая белка. Только уже настоящая. Оскалилась мордочкой, сама жалкая, худая, как и ее смерть, мокрая. Быстрая белка, где твоя юркость?

...Но когда наступали хорошие дни, я выходил с сестрой ловить ящериц. Ну, конечно, это не мы ловили. Двое соседских парней (вообще-то им было лет по тринадцать, но они мне казались ужасно взрослыми) добывали нам с сестрой этих быстротекущих зеленых и черных пресмыкающихся тварей. Ящерицы грелись на залитом солнцем фундаменте, и надо было изловчиться и их поймать. За шею или за туловище. Если схватишь за хвост: раз, она его отбросит – и извивается этот ужасный червяк, вызывая судорогу отвращения, а сама жертва с красным обрубок вместо хвоста уже скрылась в широкой трещине.

Не знаю уж, ненавидели ли нас раненые ящерицы с ампутированными хвостами, следили ли ненавидящими черными глазками за смутными гигантами, бегающими по дорожкам и цветнику, смеялись ли над ними цельносохраненные товарищи, но ящериц мы ловить любили. Даже строили для них зámки из песка. Но прежде всего оборудовали банку.

Если все живое лишь помарка

За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

Это одно из самых страшных стихотворений русской поэзии. По ламарковским ненаучным ступеням спускается Мандельштам во тьму, встречая попутно тех же ящериц.

К кольцецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав среди ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.

Моя самая памятная ящерица тоже прошуршала и исчезла. Но сперва банка. Да, для нее была оборудована банка, я говорил. Высокая, из-под венгерских соленых огурцов. Банка была вымыта душистым мылом и сияла на солнце.

Туда, в эту прозрачную тюрьму, было напихано несколько камней, небольших, переливчатых, серых, чтоб ящеринной царевне было привольно там жить (как будто может быть привольно жить в тюрьме). Накидано туда веток. Предполагалось, что мы туда будем впускать пойманных мух и комаров. А чтобы они не вылетели и сама принцесса не ускользнула, отверстие банки закрывалось марлей (для воздуха) и обматывалось резинкой. Живи не хочу!

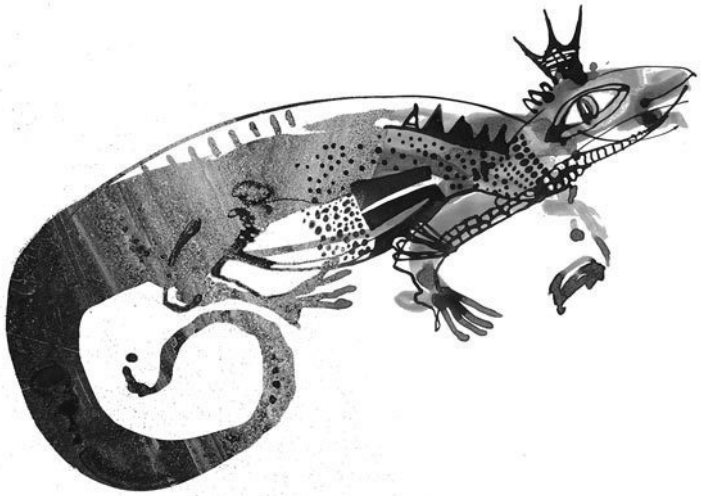
(Бедная будущая пленница, не успевшая выпустить хвост. Какая печаль тебя ждала. Скрести прозрачный, вдруг затвер-

девший воздух, видеть траву, землю, спасительный фундамент. Но не прорвать непонятную скользкую прозрачную стену, не вырваться из заточения. Хоть хвост десять раз отбрось.)

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет – ты зришь в последний раз.

И вот первую ящерицу поймали. Это для сестры. (Мальчикам она нравилась, понятно, что я тут был довеском. Но я-то свои права знал! «Теперь мне, теперь мне!») Поймали и мне.



Это было чудовище. Огромное даже для своего отряда, жирное нечто, серого цвета (у Юли была блаженно-черная, как Анна Ахматова), и вдобавок с хвостом земляного червя во рту. Он-то, червяк, ее, по-видимому, и сгубил. Сидела она на припёке, жрала червяка, не услышала, как крадется соседний мальчик Андрюша, не увидела боковым зрением, что уже занесена рука, – хватъ, и попалась. Прямо с недоеденным обедом.

(Надо было бы проверить: слышат ли вообще ящерицы? И есть ли у них боковое зрение? Но мне сейчас не до этого. Вперед-вперед, печальная история моя! Насекомые с наливными рюмочками глаз уже жужжат в стеклянной темнице,

ждут своего дракона.)

И вообще, я думаю, это была не «она», а самец. В общем, принцессой тут и не пахло.

– Поймайте мне другую! – прошептал я. Но дети жестоки. Их ждал обед: вкусная вареная картошка на дачной плите с газовым баллоном, присыпанная «своим», прямо с грядки укропом, масло на бутерброде, салат из редиски, сарделька и на десерт – только что набранная миска клубники (у соседки Анны Ивановны клубника вырастала раньше, она нас угощала, бледных московских интеллигентов, у которых даже клубника вовремя не покраснеет).

– В другой раз! – сказали злые мальчишки и убежали. А я остался со своим жирным серым принцем. И червем.

Он сказал: довольно полнозвучья, —
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.

И от нас природа отступила —
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех...

Все это, конечно, очень мило, но подъемный мост был не опущен не только для лирического героя стихотворения Мандельштама, но и для нас с ящерицей. И этот провал был сильнее наших сил, это точно. Это как с любовью. Вот ты ждешь ее, все не находишь, и вдруг она пришла – и вроде взаимно, а вдруг сидишь напротив и понимаешь: зачем я здесь? почему с этим человеком? где я вообще? Мы с пойманной ящерицей смотрели друг на друга и понимали, что вместе нам не быть.

И выход был найден.

Я немного ослабил резинку на банке и приоткрыл марлю. Ящерица-самец судорожно задвигала отвратительными пальцами по стеклу, но открывшийся потолок был слишком высоко. «Рад бы в рай, да грехи не пускают».

– Меньше надо было жрать! – сказал я в банку.

Тогда я пошел за камнями. Их было много – мой неродной дедушка, который и обеспечил нам эту незаслуженную генеральскую дачу, водил машину (тоже, кстати, редкость была). Вот машина и стояла у ворот, прямо на завезенном для этой стоянки гравии. Машина была «Волгой», гравия под ней было много. Я набрал несколько камешков и вернулся к ненавистой банке.

«Вш-ш-шик», – сказал первый камешек и скользнул в темницу. Жирная ящерица в ужасе забилась к противоположному краю.

– Дура! Это путь к свободе!

Почему я просто не перевернул банку? Не знаю.

Наверное, в моей детской голове была мысль, что так нечестно. Почему честнее было добавлять по одному камню, открыв марлю, – для меня загадка. Но было именно так.

«Вш-ш-шик», «вш-ш-ш-шик», «вш-ш-шик». Скоро банка была полна наполовину.

Тяжело переваливаясь на криво растопыренных лапах, самец ящерицы с неизменным куском червяка во рту высунул морду из банки. Но подтянуться он не мог.

В банку были добавлены еще несколько камней.

Тогда невероятным усилием ящерица все-таки извернулась, взгромоздилась на ободок тюрьмы и брякнулась прямо на прогретые доски крыльца. Свобода! Только мы ее и видели. Даже хвост в подарок оставлять не пришлось.

– А где ящерица? – спросили меня пришедшие с обеда соседские мальчишки.

– Она убежала, – с трагическим восторгом ответил я.

...Прошли годы. И теперь я сам отлично знал, что делать на даче в дождь. Куда-то идти? Зачем? Вот чай, вот вино, вот пряник. Правда, сейчас на каждой даче душ, и «Красной Москвой» никто не пользуется. И «Тройной» одеколон или одеколон «Гвоздика» вполне себе заменили специальные пластины. Вставил их в устройство, всунул его в розетку – все комары ушли в осень, пригласили, так сказать, сами себя на закат.

И черт меня дернул однажды купить таксу. Вообще-то я хотел купить йоркширского терьера. А что, милое дело! Был бы как светская львица (лев). Но йорки стоили дорого, а у меня среди прочих телефонов собакопродавцов затесался и этот. «Милая веселая таксочка ищет хозяина!»

Я не хотел таксу. У моих друзей в Питере жил совершенно сумасшедший кобель, который не слушался даже хозяев. Гостей, как вы понимаете, он вообще не жаловал.

Когда я приезжал в Питер и селился у друзей, слушая шизофренический лай Гуни (а именно так звали пса) и крики «Фу, нельзя, отдай!» его хозяев, я понимал, что если заведу себе собаку, то это будет кто угодно, только не такса.

В общем, веселая таксочка была обречена.

Так уж случилось, что мне надо было в этот день поехать на радио. Радио находилось на Ямском Поле, я живу совсем в другом конце Москвы, и вот все время, пока я ехал и шел, я звонил по двенадцати телефонам с йоркширскими терьерами. Но там то цена была заоблачная, то надо было ехать смотреть щенят за город, то еще какая-нибудь другая напасть. А я уже приезжаю на свою станцию и иду по ярко освещенной родной улице, упadaющей в закат. И остался только один телефон. Тот, выписанный непонятно зачем.

И я позвонил.

Так всегда бывает с твоей настоящей судьбой. Тебе ее не миновать. Ты можешь не пойти на ту вечеринку, где богом встречи было заготовлено пересечение с человеком, который

войдет в твою жизнь, – значит, тебе подsunут вторую вечеринку, куда ты тоже не собиpался, но зачем-то пришел.

Ты можешь всю жизнь бегать от рака, и питаться правильно, и вести здоровый образ жизни, и не пить, и не курить, но в определенный срок ты обязательно заболеешь. (Или нет. Хоть обкуpись и проваляйся всю жизнь на диване.)

От судьбы не уйдешь. Вот и я не укатился от нее, как обреченный на лису колобок.

– Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, и я не собираюсь покупать у вас таксу! – так начал я разговор, и теперь мне странно, что на том конце несуществующего провода не положили трубку.

– И не надо, – был мне ответ. Так судьба все-гда разговаривает, когда она Судьба.

Сияло солнце, мир был полон надежд, но не для меня.

– Мы просто вам ее покажем, – опять сказал телефон.

«Ты ее уже купил», – догадалась моя тогдашняя подруга по телефону, и хотя я сказал: «Мне просто везут ее показать», – как сомнамбула я сходил по вечереющей земле в ветеринарный магазин и купил плошку. Зачем плошку? К чему? Снова загадка.

...Продавцы опоздали. Сперва сказали, что привезут в семь, потом перезвонили, что в восемь, привезли в десять. Я спустился в загустевшее уже лето, в темноту, в фонари, подошел к машине, держа в кармане 11 тысяч. Собачка стоила дорого.

– Извините, мы опоздали.

– Ничего, показывайте собаку.

Из какой-то корзины (кажется, из открывающейся задней части машины, а может, и с последнего сиденья, я не помню) хозяйка достала черную колбасу и показала мне. Я машинально погладил плоскую, как у змеи, голову. И черная колбаса потянулась ко мне.

– Ой, смотрите! Она вас выбрала!

Я знал, что она лжет. Кусок летней темноты (немного, правда, темнее самой темной ночной тени этого умершего уже дня) потянулся ко мне, потому что просто устал. Ехать полдня, копошиться в закрывающейся корзине, пиццать. Но я взял этого щенка на руки. С каким-то снова сомнамбулическим отвращением протянул деньги, попросил пересчитать и ушел.

Когда я вошел в квартиру и поставил щенка на пол, он сразу же написал на паркет.

Начались наши адовые будни.

Я назвал потом таксу, которую поклялся никогда не покупать, Чуней.

Всего лишь одна буква.

Буква разницы.

Но сперва имени у нее не было.

Вы должны помнить одно: собака не должна ни при каких обстоятельствах спать с вами. У нее есть место. Пусть там и спит. Когда вы уходите, щенка лучше всего

запирать в клетку. Или, если вы хотите, чтоб у него было больше свободы, в вольер.

Я не спал всю ночь. В прямом смысле этого слова. Не то что засыпал и просыпался. Я как оловянный солдатик (только лежачий) не заснул ни на минуту. Нет, безымянная собака в кухне не визжала: я ее убаюкал, огородив тяжелыми коробками, организовав что-то типа манежа. Который она не перескочит, не сможет: она же маленькая. И очень гордился, что такой умный. Даже уже стал писать в уме первые страницы книги «Вы все дураки, а я великий кинолог», прислушиваясь к могильной тишине через две двери.

Она спала без звука, и вдруг я поймал себя на мысли, что не сплю, потому что считаю: вот еще один час Кузя (или Машка, я еще не знал, что через два дня окончательно остановлюсь на глупом имени Чуня, которое похоже на валенок) благополучно проспала. А вот еще один. Вот у всех в первую ночь собаки кричат, стонут, плачут, и их, сломавшись на втором часу ора, берут в кровать или кладут рядом. На пол. Но у меня не забалуешь. Лежит за стеной и сопит в две дырки. (Наверное.)

Завтра будет ад, но хоть она выспится, – с не присущим мне неэгоцентризмом думал я.

Да, я знал, понимал, что часов в пять она меня разбудит утробным – похожим на кошачий вой – плачем. Но сердце у меня замирало от нежности. «Вот и третий час проспала», – продолжал считать я.

Когда она завопила в пять с чем-то, я злорадно подумал: «А я как будто сплю. Все равно не выберешься, я же завалил вход коробкой».

Но все же встал. Открыл дверь.

Собака выла на пороге.

Как она перескочила заграждения, я не знаю. На полу желтела лужа. Пеленки, специально переданные мне бывшими хозяевами собачки для этого дела, были девственны.

После чего Кузя ходила за мной по пятам целый час, отказываясь какать и писать, несмотря на все мои мольбы.

И еще через час я вышел в магазин.

Стояло дивное прохладное летнее утро. Ровно шесть. Было свежо.

А я вдруг стал весь мокрый от пота, потому что при повороте на Егерскую подумал, что неплотно притворил дверь в комнату, куда Машку не пускаю, а в комнате открыт балкон.

Серьезной рысью я смотался до банкомата и снял все деньги.

Обратно я бежал.

...Теперь бы мне только дожждаться десяти, и я куплю настоящий загончик и все, что нужно. А нужно многое.

К десяти привезли два манежа – тяжелые, сложные конструкции, типа решетки с четырьмя прямоугольными фракталами вверх. Только кошка на них заберется. Черепашка и собачка – нет. Я огородил ими в кухне кухонный стол, придвинутый к стенке: у собаки получился дворец с крышей

(там, в коробках, было постелено несколько одеял и даже положена подушка; забегая вперед: эту подушку собака описала в первую очередь) и с оградой. Дворец с решетчатым забором. Живи не хочу.

Кузя не хотела.

Я раньше думал, что ж это такое: «То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя». Какая такая выюга? Теперь я знаю какая.

Чуня ухает, как гиена, кричит, как подкидыш, или рыдает, как Фаина Раневская (когда я ухожу) настолько громко, что это слышно даже на первом этаже. И так радуется, когда возвращаюсь, что мне приходится ходить как стреноженный китаец (боюсь наступить, а она все мечется, она же маленькая). В общем, теперь я был какое-то бессмысленное, но суровое приложение к этой невротичке. настолько, что, когда во второй день я встречался с замечательной женщиной, продюсером, которая предложила мне два феерических поэтических проекта (ее идеи были совершенно невероятны и при этом в самое яблочко), – я так, видимо, бездарно принимал участие в разговоре, что она спросила меня: «Ты думаешь о собаке?»

– Нет, – слишком быстро ответил я.

Но ограда сторожила собаку крепко. Это я знал точно. И когда я бежал после встречи домой, я знал, что Чуня будет ждать меня на кухне, стоя в полный рост и вцепившись своими маленькими миленькими лапками в решетку.

Я ошибся.

Чуня встретила меня у входной двери. Извиваясь от радости.

Но как?

И еще была одна загадка: Чуня не пахла.

Я очень люблю запах псины. И та дачная Белка, и другие собаки, которые жили после Белки у нас, – все они пахли сильно и остро. Чуня же была девственно щенячьей. И дело не в ее возрасте: она выросла и пахнет щенком до сих пор. Объяснение этому удивительному факту заключается в том, что у гладкошерстных такс нет подшерстка (кстати, у йорков его тоже нет), поэтому они до старости пахнут собачьим детством.

Но даже ее ангелоподобная природа не объясняла преодоления барьера, который был выше ее в два раза, даже когда она становилась на задние лапы. Ну не летает же она?

Поэтому я решил проверить.

В ванной комнате у меня есть внутреннее окно. Я даже читал когда-то, зачем в старых домах делали это застекленное большое окно между ванной и кухней. (Сейчас, впрочем, забыл зачем.) Вот оно и пригодилось.

Я посадил Чуню в вольер, сам вышел из кухни, вошел в ванную и, встав на край ванны, прильнул к стеклу.

– Чуня! – позвал я ее. – Иди сюда.

И тут я увидел все. Чуня забежала по периметру, стараясь найти выход, чтоб устремиться на зов. Но выхода не было.

Она стала прыгать на ограду, но ограда была слишком высока.

– Чуня! Иди сюда! Мне нужна помощь! – продолжал свое требовательное пение я.



И тогда Чуня, уцепившись передними лапами, стала карабкаться вверх. Как она это смогла сделать, мне до сих пор непонятно. Но я видел это собственными глазами: она уцепилась передними лапами за верхние твердые струны, поставила одну заднюю лапу на поперечное деление, потом вторую, еще раз переставила лапы, подтянулась и оказалась на самом верху. Спуститься оттуда таким же способом она, естественно, не могла. Поэтому она просто брякнулась. С высоты полуметра. Как мешочек с дерьмом.

У меня потемнело в глазах.

Через секунду Чуня уже прыгала на ванну.

Здравствуй, ящерица. Наконец-то я снова встретил тебя.

Чуня и щи

У Тургенева есть короткий рассказ. В какой-то крестьянской семье умирает хозяин дома. Мужик. Кормилец. «Что ты хотел бы поесть?» – спрашивает его жена. «Щей», – еле слышно отвечает он. Ну щей так щей. Вскипятила она воду, бросила какие-то коренья, посолила (а соль была дорогая), приносит мужу, а тот уже помер.

И тогда первое, что она сделала (когда уже всех позвала, всем сообщила, пригласила попа), – это села и дохлебала принесенное. Деревянной ложкой. Оно же «соленое». Потому что это у земных, простых, корявых людей в крови: еда не должна пропасть. Сидела и ела.

Еда как жизнь. Еда как смерть. Еда как мания. Еда как мечта, которой Чуня не изменяла никогда.

...Предлагаем вам старинный рецепт приготовления блюда из курицы Елены Молоховец – курица фаршированная. Вкусное блюдо, несложное в приготовлении, вам понравится. Продукты для фаршированной курицы:

- 1 курица (1,2–1,5 кг);
- 5 сардинок или 1 селедка;
- половина белого хлеба (батона);
- 1 стакан молока;

1 яйцо;
1 ложка сыра;
петрушка;
3 ложки масла;
соль.

Нафаршировать курицу можно следующим фаршем: 5 сардинок или 1 селедку истолочь в ступке с ложкою масла, положить половину белого хлеба (батона), намоченного в молоке и выжатого, вбить 1 яйцо, всыпать 1 ложку тертого сыра, ложечку мелко рубленной петрушки, протолочь все вместе. Вымыв и натерев курицу внутри и снаружи солью (беря по 1 ложечке на 400 грамм курицы), нафаршировать фаршем, зашить, положить на небольшой противень, смазать курицу маслом, подлить 2–3 ложки воды и поставить в горячую духовую печь. Когда кругом обжарится, уменьшить жар и поливать стекшим соком каждые 10 минут.

Я не знаю, понравилась бы Чуне курица с селедкой (ей вообще никакой человеческой еды нельзя), но больше всего Чуня любит то, что ее не касается. Моя подруга однажды пришла с гостинцами и бутылками (мы собирались пировать), погладила скачущую Чуню, поставила пакеты с едой, чтобы разуться, – так Чуня залезла мордой в сумки и в считанные секунды разорвала полиэтилен на куриной тушке, вцепившись ей в бок.

Чуню оттащили, конечно, но ее охотничий азарт тогда ме-

ня поразил. Так же однажды она надкусила и пакет сливок.

В романе Чернышевского «Что делать?» (столь нелюбимом советскими школьниками в мое время) есть памятное про эту еду: жирную, белоснежную и царскую. Сливки очень любила Вера Павловна. Кажется даже, что это любовь самого Чернышевского: немного кривая, жалкая, но, как любая настоящая любовь, трогательная.

Вот она и выходит к чаю, обнимает мужа: «Каково почивал, миленький?», толкует ему за чаем о разных пустяках и не пустяках; впрочем, Вера Павловна – нет, Верочка: она и за утренним чаем еще Верочка – пьет не столько чай, сколько сливки: чай только предлог для сливок, их больше половины чашки; сливки – это тоже ее страсть. Трудно иметь хорошие сливки в Петербурге, но Верочка отыскала действительно отличные, без всякой подмеси. У ней есть мечта иметь свою корову; что ж, если дела пойдут, как шли, это можно будет сделать через год.

У Чуни тоже есть мечта: когда-нибудь все-таки до сливок дорваться и пакет картонный до конца разорвать. Или вынуть из помойки выброшенный туда заплесневевший помидор. Или украсть настоящую говяжью котлету. Чтобы быть как стремительный Лев Толстой.

...Еще в молодости Лев Толстой дал себе восторженный зарок, что будет воздержанным в питье и еде. Но прошло всего два года, а Лев Николаевич уже признался, что стал переедать. Здоровый аппетит, к слову сказать, никогда его

не покидал, даже в старости. Наблюдавшая за ним во время многих обедов Александра Андреевна Толстая «всегда находила, что он кушает, как проголодавшийся человек, слишком скоро и слишком жадно». Ну а однажды он даже обидел едой Бога.

Это был тот период в жизни Толстого, когда Лев Николаевич ревностно постился, соблюдал все предписания. И вдруг одним прекрасным днем, когда все сидели за столом в Ясной Поляне, Лев Николаевич обратился с неожиданной просьбой «подать котлет».

Все ахнули, но воспротивиться не посмели.

– И больше мне постного не заказывай, – сказал он Софье Андреевне, которая никогда не знала, чем в следующую минуту удивит ее муж. На этом Толстой закончил свое постничество.

Я ездил однажды выступать в Ясную Поляну (без Чуни). И там в одном кафе было меню, полностью составленное из блюд по рецепту Софьи Андреевны (все-таки она была хорошей хозяйкой). Например, «Картофельный салат с томатами».

Очистить, отварить в соленом кипятке картофель. Остудить, нарезать кружками. Взять сырых помидоров, нарезать кружками, сливая сок; уложить в салатник рядами: картофель, помидоры и щипаный испанский или русский лук. Заправить соусом: две ложки горчицы, две ложки какого угодно масла, две ложки уксусу

(крепкого), соли, немного сахара или перцу.

И в конце написано:

Выдать: 6–7 картофелин, 1 луковицу, 6–7 помидоров, зелени на соус.

Мне нравится это «выдать».

Чунина же каша готовилась в свое время куда как проще. Сварить три пакетика гречки до разваренного состояния, слить воду, пакетики разрезать, высыпать содержимое в плошку; добавить ту- да банку собачьих консервов и размешать. Все.

И никаких сырых куриц и никаких сливок.

Чуня и щи. Чуня, ищи. Чуня, ищи-ищи.

Чуня и страх

А вчерашней весенней ночью мне снова показали кошмар. Как полагается, многоступенчатый. Когда ты, переходя из одной комнаты сна, попадаешь в другую и не знаешь, какая лучше, потому что все гадко, все страшно, все хуже некуда.

Есть такие сны, которые долго не можешь стряхнуть. Даже проснувшись и встав на три минуты с кровати, всего сторонись: темного провала двери, ночной, увеличенной темнотой кухни, угла стола. Сны эти липкие. Сны тебя пачкают. Сны тебя ждут.

– Это все сон, сон, – говорили нам в детстве. – Перевернись на другой бочок.

Но мы-то знали: все, что есть сон, все уже кому-то показали в этой жизни наяву. Нас не обманешь. (Вот и чудовище из сна вдруг косило взглядом, поднимая неумолимую мерзкую морду: «Нас не обманешь». Что еще страшнее того, что твой план побега рассекречен?)

– Тотоша, ты тошнотворный. И твои калоши пахнут страхом.

Хе-хе. Страшный сон с внутренними чудовищами, которые не обещали, что если они внутренние, то, значит, твои. Они отдельно. И это самое страшное. Страхнул сон: сон уполз, где-то там, непонятно где, свернулся, ждет.

Плачут Тотоша с Кокошей:
– Папочка, ты нехороший —
Даже для глупой Овцы
Есть у тебя леденцы.
Мы же тебе не чужие,
Мы твои дети родные,
Так отчего, отчего
Ты нам не привез ничего?

Но папочка еще вернется. Не плачьте, дети. Ваш папочка всегда к нам рано или поздно возвращается.

«Интересно, что покажут сегодня?» – говоришь ты себе перед сном и тут же засыпаешь. И снятся тебе перезвон колокольчиков, большие ожившие цветы, красная морда огромного животного. Слушай, Чуня, я расскажу тебе сказку.

...Младенец открыл глаза и увидел люльку. Люлька была ярко раскрашена. Наверное, аляповатыми цветами, плоскими яблоками или диковинными зверями. Может, там был даже нарисован конь. Младенец смотрел на коня, зверей и цветы и не плакал. Хотя очень хотелось. «Завозишься в колыбели... и уже к горлу подступает – реветь, реветь надо», но зазвонят повешенные над колыбелью музыкальные палочки, заиграет роспись яркими цветами – «и кончены все страхи».

Младенец вырос и стал художником. Люлька помогла.

По крайней мере, так утверждал сам выросший в художника младенец.

Если бы эта люлька сохранилась, она бы многое ему самому объяснила: «Как я вижу мир и почему я вижу мир именно так». Так утверждал потом художник Петров-Водкин. (Я разве не сказал, что младенца звали Кузей?) Но и на этом чудеса не кончились.

Есть завиральная идея, что Кузьма Сергеевич Петров-Водкин написал в образе самого своего известного мальчика, купающего красного коня, гимназиста Владимира Набокова.

Дескать, приезжал Петров-Водкин на этюды на берега реки Оредеж (правда, без всякого старорежимного твердого знака на конце), той, что течет под Санкт-Петербургом, а рядом как раз была усадьба Набоковых с радостным ярмарочным названием Рождествено.

Вот они там и встретились.

Это было бы, конечно, просто потрясающе. Если бы так и было на самом деле.

С серого севера
вот пришли эти снимки.

Жизнь успела на все
погасить недоимки.
Знакомое дерево
вырастает из дымки.

Вот на Лугу шоссе.

Дом с колоннами. Оредеж.
Отовсюду почти
мне к себе до сих пор еще
удалось бы пройти.

Так, бывало, купальщикам
на приморском песке
приносится мальчиком
кое-что в кулачке.

Все, от камушка этого
с каймой фиолетовой
до стеклышка матово —
зеленоватого,
он приносит торжественно.

Вот это Батово.
Вот это Рождествено.

Вы обратили внимание, что после первых двух строчек можно поставить скобки и как бы «проглотить» в них все оставшееся стихотворение – до слов «вот это Батово»? Потому что все в средней части – это как бы только уже расшифровка, всплывшая картинка, воспоминания. В сущности, сон.

С серого севера
вот пришли эти снимки.

Вот это Батово.

Вот это Рождествено.

Как будто действительно пришли эти приветы с туманного берега реки. Ничего прямо рядом с селом Вникуда.

Чуня никогда не видела Петрова-Водкина, не читала Набокова, но иногда, когда она спит, она взвизгивает во сне. То ли ей снятся огромные цветы (черно-белые), то ли она там, во сне, встречается с диковинными зверями, то ли видит сон про коня и мальчика. О том, как младенец смотрит на коня, зверей и цветы и не плачет.

Чуня и Павел I

Все знают, какой был вздорный и странный Павел I. Самое известное – это хроника его законодательных актов за 1799 год.

2 апреля – запрещение носить тупей, на лоб опущенный.

6 мая – запрещение дамам носить через плечо разные цветные ленты наподобие кавалерских.

17 июня – запрещение всем носить широкие большие букли.

4 сентября – запрещение немецких кафтанов и сюртуков с разноцветными воротниками и обшлагами, но чтоб они были одного цвета.

28 сентября – чтоб кучера и фореиторы, ехавши, не кричали.

28 ноября – запрещение синих женских сюртуков с кроевым воротником и белой юбкой.

Бедный Павел. С другой стороны, я его могу понять. Про кроеный воротник и белую юбку врать не буду, но Чуне тоже многое что запрещено. Ей нельзя лаять, когда я сплю. Нельзя воровать из помойки. Нельзя бросаться на детей.

Лает, ворует, бросается.

Однажды она сорвалась с поводка и летела как пуля (черная, низко стелющаяся торпеда) к соседскому громадному

псу, которого вывел хозяин. Всем было смешно, кроме меня и пса. Когда я подбежал, Чуня бросалась как обезумевшая и пыталась вцепиться кобелю в глотку. Пусть Чуня ничего не боится, но мы с Павлом I за нее боимся.

Один мой товарищ когда-то рассказал:

– Проснулся в тревоге. Стал вспоминать, что снилось. И вспомнил. Снился замерзший, покрытый льдом и снегом серый город. Я на велосипеде и в какой-то длинной шинели. Знаю, что обязан ехать куда-то, но мне страшно не хочется. И тут я осознаю сразу, как бывает часто во сне, что я солдат немецкой армии времен Второй мировой, и ехать мне надо на восточный фронт. И потому такая тоска.

Это они, мистические любовники страха, в нашей сонной голове шевелятся. Павел I, уже упомянутый, тоже ведь все прусское любил. Не напрасно. Прусское, прыскать, трусить, прусак.

Как ему спалось в его императорской спальне? Кто бы его защитил, кроме родной собачки? Кто бы залаял на стремительные шаги?

Не бойся, и они меня не пожалеют
(а мог ли Павел сам себя бояться,
и нужно ли своих любовников бежать).
Со мной, как со страной, ни пить нельзя, ни спать,
но может ли страна царапать и кусаться,
когда ее приходят убивать?

И сегодня ночью ко мне опять, как к Павлу I, пришел страх.

Я лежал с собакой, убранной под одеяло, сам лицом к стене, и вдруг мне показалось, что в темноте кто-то стоит, молчит и смотрит на меня.

Это был вздор.

Если бы кто-то стоял и смотрел на меня, пусть даже самый нереальный и призрачный, собака бы выкрутилась из-под одеяла, как яростный волчок, и бросилась бы защищать меня – меня и свое звание дурной собачки (Чуня совсем безголовая и поэтому отважна, как бультерьер, я уже говорил).

Но собачка спала свои положенные 23 часа в сутки, а я совершенно отчетливо чувствовал чей-то взгляд.

И тогда я стал думать о природе страха.

Когда я был маленьким и спал в одной комнате с сестрой и прабабушкой, я часто ощущал это нечто – Того, Кто Стоит За Спиной. Это был не бог, не колдун, не домовый и не призрак. Это было что-то совсем личное. И от того неизбежное.

От него был только один шанс избавиться: не поворачиваться. Одеяло, которым я был укрыт по самый затылок, было магическим заслоном и спасением. Я до сих пор не понимаю, что такого охраняющего было в том одеяле, но защита была.

Тикали часы, прабабушка что-то бормотала во сне, а Тот, Кто Стоит За Спиной, стоял и не уходил.

Их слишком много бродит в голове,
но это не они, точнее не вполне.
Когда-нибудь они меня задушат
(они всегда, ужасные, с душком),
их теплые, их маленькие души
в такие ночи – бух, бабах, как гром.

Мысль, что никто не может стоять в комнате, где спит чуткая прабабушка и раскинувшаяся на своем диване сестра, не приходила мне в голову. Это были наши счеты. Того, Кто Стоит За Спinoй, и меня. Бабушку и сестру это не касалось. Никого же не касается чужая смерть. И чужой гость.

Тикали отсутствующие часы, а я был весь в воспоминаниях.

– Ты долго еще будешь думать о другом, а не обо мне? – спросил меня голос. – Обо мне, стоящем у тебя за спиной.

Я повернулся в темноту комнаты – и там, разумеется, никого не было.

И тут собака залаяла.

Чуня слепнет

Чуня слепнет (я лечил ее пять лет от «синдрома сухого глаза», а потом врач Вера Владимировна сказала, что с синдромом все хорошо, его нет, зато есть старческая слепота), Чуня глохнет (особенно когда не хочет слышать то, что не хочет слышать), Чуня даже недавно почему-то в первый раз за всю свою жизнь не вышла на звонок домофона (видно, крепко спала, я даже проверил, не померла ли; нет, не померла), Чуня не в себе, меня зато цепляют вещи. То ли пытаются удержаться, то ли хотят удержать.

Вот недавно. Подошел включить компьютер, включил его, пошел прочь – круглая ручка выдвижного ящика письменного стола захватила прореху на джинсах, рванулась за мной, оказался привязанным. Прореха расползлась еще больше. Вещи не лгут. Цепляются за тебя, не дают уйти.

Двадцать три года назад у меня умирала бабушка: инсульт. (Она Чуню так и не увидела: я завел ее, когда переехал в бабушкину освободившуюся квартиру, и то лет через десять.) Я пришел к ней в больницу и не знал, что говорить. Я каждый день приходил, и каждый день не знал.

– Что так просто сидеть? – сказала в один из этих солнечных дней раздраженная тетка (она пришла навещать свою разбитую инсультом родственницу). – Помыть ее надо! Надо принести шампунь, растворить в воде, взять губку, помыть,

потом протереть другой губкой.

Я не знал, как я могу мыть свою бабушку. Да она бы и не позволила. Бабушка была профессором, выпустила в советские времена книгу (тут важно, что в советские: тогда книги абы как не выходили), книга сразу стала бестселлером в области туберкулезной рентгенологии и быстро пропала из продажи. Но и без всякой книги к бабушке было не подступиться, у бабушки был ужасный характер: она могла так коротко сказать обидное, что ты потом помнил обиду долгие годы. «Что я тебе сказала? Почему вы такие обидчивые?» – спрашивала тогда она. Прошли годы, а многие свои обиды я помню до сих пор.

В общем, бабушке мы наняли медсестру. Чтоб она ее мыла, приходила несколько раз в день, следила за ней.

– М-м-м-м-м, – говорила бабушка. – М-м-м- м-м-м.

– Баб Саша, чего ты хочешь? – спрашивал я. – Принести чего-нибудь в следующий раз? Может, ты хочешь йогурт?

«Иди!» – говорила бабушка жестом. Одна рука у нее двигалась.

Бабушку раздражали наши жалкие потуги. Ей было досадно, что у нее отняли ее дар: говорить неприятное. Бабушка хотела умереть.

И однажды я к своей бабушке опоздал, как потом опоздал и к ее смерти: я только вернулся в тот последний день домой от нее, а мне позвонили и сказали, чтоб я ехал обратно. Но сейчас она еще была жива – мне надо было перед больницей

заехать в одно место, забрать книгу. Евгений Евтушенко как раз выпустил толстенный том «Строфы Века». В него вошли 875 авторов. Был среди этих 875-ти и я.

Ну вот я и приехал, нагруженный толстым томом и еще какой-то чепухой, вошел в палату, задал дежурные вопросы (с неестественно оптимистичным лицом), бабушка что-то промычала, а так как говорить с неговорящим человеком трудно, я сказал, чтоб как-то занять паузу: «Вот ездил забирать книгу. Евтушенко меня опубликовал. Смотри, какая толстая! Прямо гроб».

Когда человек оказывается, к своему и не только своему несчастью, лежачим больным, у него возникает много физических проблем. Например, газы. Бабушка, я знаю, мучилась газами, и медсестра мне говорила: «Их приходится специально выводить».

И вот я показываю бабушке этот «гроб», а она вдруг оживляется: «Давай! Давай сюда!» – «говорит» требовательной рукой, единственно двигающейся. Я удивился, но даю. Бабушка устраивает эту тяжеленную книгу на животе.

«Ей хочется, чтоб она своим весом надавила на живот, чтоб газы вышли», – думаю я и помогаю ей эту книгу плашмя уложить, так же суется и стесняясь. «Отойди! – раздраженным жестом «говорит» бабушка. – Все не то!»

Поставила себе ее на живот, как всем книгам стоять положено: «Открой!» – «говорит». И тут я догадался. Открываю книгу на нужной странице, она потянулась всем корпу-

сом, хватаясь здоровой рукой за перила кровати, посмотрела удовлетворенно на мою крупно набранную фамилию, промычала что-то, откинулась обратно, закрыла глаза, махнула рукой, «сказала»: «Я устала. Уходи».

Меня тогда это поразило. Бабушка умирала и знала об этом: она была врач. Но, даже умирая, она хотела напоследок гордиться мной, посмотреть на крупно набранную мою фамилию. Потому что она сама знала, что такое издать книгу. Потом уже – после ее смерти – я обнаружил в ее квартире, доставшейся мне по наследству, в книжном шкафу старательно собранные ею все мои публикации к тому времени: вырезки, газеты, одна напечатанная книга, журнал. Получается, что меня никто не любил так, как бабушка. Кто бы мог подумать. Мне она никогда ничего приятного не говорила. Не хотела или не могла.

... Чуня ходит по квартире женщины, о существовании которой она даже не догадывается, и стучается обо все углы.

– Это тебя Александра Васильевна наказывает, – говорю я.

И Чуня даже не спорит.

Жозефина Тауровна, или Почему у Чуни два имени

Вообще, в собачьем паспорте Чуня записана как Жозефина. Отец ее – кобель Тауро Браун из Зеленого города, мать – какая-то невозможная финалистка и отличница. Поэтому в публичном пространстве я зову Чуню Жозефиной Тауровной.

В свое время бывшая хозяйка щенят мне еще звонила, интересовалась, как там наши дела, но потом Жозефина Тауровна стала знаменитостью, взлетела высоко, хозяйка звонить перестала.

А зря. Лет через десять у Чуни начались серьезные проблемы со здоровьем.

Мало того, что Чуня слепая, так теперь у нее и хвост кривой.

Я это увидел через одиннадцать лет после покупки Чуни, вернувшись после очередного отъезда, как только собака вышла мне навстречу.

Я провел допрос домашних, как так могло произойти: не падала ли с кровати, не приволакивала ли заднюю лапу (когда-то у Чуни уже отказывали задние лапы, именно тогда я и научился делать уколы). «Нет, не падала, не состояла, не привлекалась». Сталинские способы ведения следствия ни-

чему не помогли.

В общем, хвост теперь у Жозефины Тауровны кривой.

Впрочем, это не помешало ей сейчас после утреннего туалета (кстати, написала мимо лотка), приема пищи и закапывания лекарств в глаза покувыркаться в полужемке. Она всегда так делает. Когда ее распирает самодовольство.

«Если собака отряхивается и кувыркается, значит, она здорова». Эти слова одного из ветеринаров я запомнил навсегда. Даром что много у нас этих ветеринаров было.

Чуня сидит на коленях, ластится, ерзает, я ей тискаю ухо (уши у нее, кстати, чудесные, бархатные), спрашиваю:

– Когда ушки отвалятся? Глазки отвалились. Хвостик отвалился. Лапки отвалились. Когда ушки отвалятся?

Чуня очень радуется. У Чуни сломан хвост, как выяснилось потом у врача, но радоваться ей это не мешает.

Может, именно это неувыдающее эгоистическое жизнелюбие и заставляет Чуню быть наглой всезнайкой, а иногда даже увлекаться античной зоологией.

– Одна южноамериканская лягушка практикует живорождение в самой необычной форме, – читаю ей вслух я. – Самец проглатывает яйца, которые он оплодотворил. Однако яйца не попадают ему в желудок. Как и у многих самцов лягушек, у него есть обширный голосовой мешок, который используется в качестве резонатора для усиления голоса. Туда и попадают яйца. Там они развиваются и в конце концов отпрыгиваются в виде полностью сформировавшихся лягушат,

минуя стадию свободно плавающих головастиков.

– Прямо как Афина из головы Зевса, – говорит Чуня.

Именно ее тяга к знаниям превратила Жозефину Тауровну (имя и отчество все-таки обязывают) не в какую-нибудь там простую шавку, а в литературную. Ей, например, нравится слушать сказки Гофмана; подозреваю, что ей даже сны про Гофмана снятся. «Какому небесному Гофману выдумалась ты, проклятая?» – спросил однажды Маяковский. Отвечаю, встав во весь рост, Маяковскому: небесной Чуне. И Лиля Брик приснилась тоже ей, и вы сами, Владимир Владимирович, и Гофман. Весь этот мир ей приснился. Вы – только ее сны. С этим тоже придется смириться.

Так что спит Чуня, послушав с утра про южноамериканскую лягушку, сходя в туалет и поев (а раньше, пока не ослепла, еще полаяв на мир из балконной двери в пол), и видит во сне елку, шарики и прусское Рождество. Почему ей, русской суке, снится прусское Рождество? – спросите вы. Потому что именно там, в далекой Пруссии, и родился упомянутый Гофман. Видимо, Жозефина Тауровна помнит своей немецкой сущностью (таксы вообще-то немецкие собаки, что бы я тут ни говорил), как праздновали Рождество в Восточной Пруссии, и что праздновали хорошо. А Чуня любит, когда хорошо: тепло, сытно и подарки. Поэтому она снова спит и видит сон – про немецкого Гофмана.

Этим летом мне все говорили: объявляй войну,

собирай свое войско!

Ну вот я и собрал: три с половиной калеки.

...Но так уж случилось, что днем
мы с Чуней купили *елку*,
самую зимнюю елку, срубленную навеки.

Тут-то все стали ее наряжать: и Саша повесил шарик,
и Сеня повесил шарик,
а я взял серебристый «Урал» (я думал, что это река) и
тоже повесил,
как будто змею из стали, так, чтоб шары засияли
и чтоб огоньки вокзалов засверкали на ветках этих.

«Вот это будет праздник!» – я думал. Но чтоб
по-хорошему,
то лучше бы – с вечным снегом, с сугробами
над головой...

И не беда, что я Чуне
намазал вонючей мазью
ее паршивые уши
и пахнет она калошей
(да, именно: обыкновенной советской старой
калошей),
но эти четыре года мы были втроем с тобой.

...Утром четвертого воскресенья перед Рождеством два
века назад в Пруссии первым делом вешали под потолок
комнаты яркую, со многими лучами, светящуюся изнутри

желто-красным светом, рождественскую праздничную звезду. Германцы – древний народ, там много чего намешано, есть и залежи язычества, поэтому всё у них (да и у всех народов) теперь в кучу: христианская символика, языческая, просто девичья-любовная. Рождества много, на всех хватит. Хватит и любимому твоему, Жозефина Тауровна, Гофману.

Чуня лежит под одеялом и слушает. Иногда только под сломанным хвостом полижет и снова слушает.

– Двадцать четвертого декабря единственному сыну адвоката Людвигу Гофману и его супруги-кузины весь день не разрешалось входить в проходную комнату, а уж в смежную с ней гостиную его и совсем не пускали. «Что, что же мне приготовили отец и мать?» – думал маленький Гофман. В том-то и дело, что ничего.

(– Как и мне, – говорит Чуня в скобках.

– Замолчи, – говорю я, – или я не буду рассказывать.

– Извините.)



...Когда маленькому Эрнсту Теодору (имя Амадей он прибавит к первым двум позже, сам, от большой любви к Моцарту) исполнится три года, его родители разойдутся – так бывает. Твои родители, Чуня, никогда, наверное, и не жили вместе: привезли твоего папашу Тауро Брауна для случки, потом обратно отвезли, и забыли они друг друга: вот и родители Гофмана тоже разошлись, правда, не так безболезненно.

Маленький Гофман будет воспитываться в доме бабушки по материнской линии: звон чашек, скучное печенье, локти не клади на стол, не горбись, учись хорошо, не болтай. Лучшее, что там будет, – это дядя-юрист, человек странный и одаренный, склонный к сказкам, фантастике и мистике: это и по племяннику потом увидеть можно.

– Ты, кстати, помнишь, Чуня, дом, в котором ты родилась? – неожиданно спрашиваю я.

– Нет, – отвечает Жозефина Тауровна. – Может, и нет его больше на этом свете.

...Я просыпаюсь утром в постели, отяжелевший,
все ужасно болит:
шея, спина, руки.

– Какого хрена, – спрашиваю, – мучить меня
любовью,

когда мне надо о пенсии
думать.

(Желательно персональной.)

– До свиданья, – кричат на площадке друг на друга
соседские дети.

– До свиданья, – я отвечаю.

И действительно, до свиданья.

Потому что с утренней елкой, с самой лучшей
елкой на свете

не бывает на самом деле ни прощания, ни разлуки.

Дома Гофмана сейчас тоже на свете нет. Как и матери Чуни, и Чуниного отца, и, наверное, некоторых ее братьев и сестер.

Сейчас можно найти только в книгах и в интернете, как же выглядел Кёнигсберг во времена сказочника. Но вот узнать, как выглядела квартира, превратившаяся в пустырь из-за проделок Крысиного Короля – серого и беспощадного времени, – невозможно. Однако на одном старом фото я этот бывший дом Гофмана нашел. Люди идут в сторону телерадиокомпании «Калининград» и смотрят иногда на большой камень. «На этом месте стоял дом, в котором родился писатель Эрнст Гофман», – гласит надпись на камне.

Ну а в сумерках (хоть я, конечно, знаю, что
в сумерках спать нельзя)

я забираю с собой на кровать собаку

и тебя к себе забираю:

два тепла, шебуршащихся рядом,

шумно думающих тепла

(достаточно туповатых, надо сказать, тепла) —
это слишком смешно для счастья; и я, вздрагивая,
засыпаю.

...Посмотри, сколько разной чуши, ерунды золотой
и нарядной
висит на убитой елке: облепиха, Урал, Алтай,
и Россия висит на ветке, и синий шар Амстердама,
и дворник скребет лопатой, и яблоко —
Индокитай.

Проходит день, наступает ночь, про Гофмана мы уже забыли, Чуня спит между мной и тобой, но под твоим одеялом, и ей снится сложный сон.

Как наступает сочельник, как выходят жители немецкого города на улицы, мелькают там и тут, а еще надо в церковь — и вдруг: колокол. В церкви поют.

Хорошо, что еще на свете
остается так елок много
(да и если немного осталось): одиноких, двойных,
тройных.

Как сказал Сашин тесть перед смертью:
— Дайте ложечку Нового года, —
(вот именно так и сказал: «Дайте ложечку
Нового года»),
приложился к шипучей ложке, удостоверился —
и затих.

По-моему, замечательно. По-моему, все
замечательно:

и то, что умрем, – замечательно, и то,
что живем, – хорошо.

...На елке висит и качается ушастое ваше
сиятельство,
щянячее наше сиятельство, доказанное Рождество.

...Однажды, кстати, летом юный Гофман и его подружка из соседнего дома были пойманы за небольшим преступлением. Они из сада соседа рыли подземный ход. Что-то им надо было на территории соседнего пансионата. Пансионат был огорожен высоким забором, вот они и придумали проникнуть туда под землей. Провинившихся в подкопе наказали, садовник закопал ход обратно. Но дети не успокоились. Гофман с девочкой достали где-то воздушный шар, прицепили туда бутылку бургундского вина, украсили его флагами и отправили в путешествие. Кому? Зачем?

Шар поднялся в воздух, перелетел через ограду и... упал прямо посередине двора женского пансиона. Не дожидаясь, пока их изловят, друзья бежали, перепрыгнув через калитку.

Может, они посылали бутылку к своему будущему, выросшему, взрослому Рождеству?

А может, это был привет Жозефине Тауровне?

Чуня и сладкое

Чуня никогда не пела на сцене, не летала в космос; Чуня только раз в жизни ела шоколад. Украла у соседки конфету (видно, дети на пол уронили и не заметили), и потом ее целую ночь тошнило. Больше я этой соседке Чуню на передержку не отдавал. Пусть уж лучше одна сидит. Или у сестры. Но Чуня конфеты любит, особенно ворованные, вот и сейчас пытается дотянуться. Впрочем, это невозможно: наши границы крепки, а отсутствующие танки быстры. Только сухой корм (это раньше мы варили упомянутую гречку, мешали с собачьими консервами, теперь это в прошлом). Но конфеты есть и стоят. Уж не знаю, кто их принес в дом. Но насыпали их в большую фруктовую вазу, теперь на кухонном столе где-то килограмма два разных конфет. И «Степ», и «Фонарики», и «Петушок», и «Жена самурая». В Чуне есть что-то японское, поэтому «Жена самурая» ей особенно приглянулась. Собака она хоть и верткого ума, но небольшого, поэтому не знает: разворачивать «Жену самурая» трудно, как будто юбку (кимоно) шуршащую рвань. Но вот раздел, разорвал прям по шву, ам – и нету «Жены самурая». Впрочем, «Петушка» с «Бешеной пчелкой» тоже нет. Лишние 200 калорий. Но не для Чуни. Чуня умрет стройной: без 200 лишних калорий, умрет без шоколада и конфет.

А я нет: я люблю сладкое. Поэтому я ем конфеты и читаю

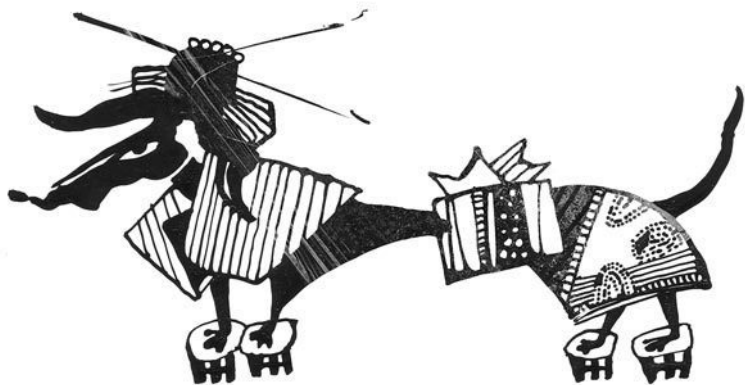
интернет.

В разрезе «Жены самурая» видим, – пишет одна там скрупулезная женщина, – что внутри конфеты есть шоколадная начинка, внутри которой находятся кусочки хрустящих и воздушных шариков. Шарики имеют уж очень неестественный цвет, какой-то желто-зеленый. Вся эта масса помещена в тонкий хрустящий слой карамели и облита толстым слоем молочной шоколадной глазури. Покупать больше не буду!

Если отставить в сторону неестественность цвета шариков, то сразу задумаешься: кто эта суровая и педантичная женщина? Как живет? Зачем? С кем?

– Как ты думаешь? – спрашиваю у Чуни.

Но Чуня не думает, это не ее: думать приходится за нее мне. И вот я представляю...



Приходит эта женщина после тяжелого трудового дня, покормит детей; мужа мимоходом, сидящего у телевизора, пошпыняет – время на личную жизнь: ушла на кухню, съела одну-другую конфету, села за стол, открыла лэптоп, нашла соответствующий сайт (смотрите: даже описывать эти действия скучно, но ей, нашей женщине, это все проделывать – нет, не скучно), зарегистрировалась на нем и написала:

На вкус конфеты довольно приличные, если не вспоминать состав. Сейчас все вкусное оказывается таким вредным, и этот факт уже никого не удивляет.

Какие в этом есть печаль и поэтичность. «...Все вкусное оказывается таким вредным, и этот факт уже никого не удивляет». И то верно. Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время родиться, и время умирать. Все реки те-

кут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все пройдет, пройдет и это, Жозефина Тауровна. Конфета «Жена самурая» с вредными желто-зелеными, как наша тоска, шариками тоже лишь суета сует, и этот факт уже никого не удивляет.

Бедная русская женщина! (Кстати, как тебя там? А! *oksana080573*.) Бедная русская женщина *oksana080573*! Что же тебе обещала жизнь и чем обманула, если ты, вместо того чтоб дышать страстно под любимым мужчиной или нажать в крайнем случае говяжьих котлет, сидишь тут в халате и пишешь в гулкий пустой интернет про сладкую жизнь, которую ты больше не купишь? Кто тебя, сладкая женщина, этому научил?

А я тебе отвечу, дорогая *oksana080573*, кто.

Иван Сергеич Тургенев. Однажды Тургенев уже отвечал на анкету в 1869 году, а в 1880-м – повторил.

Какая ваша любимая добродетель? – спрашивала его эта самая анкета одиннадцать лет назад.

«Пылкость», – ответил он.

Одиннадцати лет как не бывало: «Молодость» – отвечает он.

Какое ваше любимое качество у мужчины?

«Доброта».

Одиннадцать лет прошло: «25-летний возраст», – отвечает 61-летний старик.

Ваши любимые цвета и цветы?

1869: «Голубой, нарцисс».

1880: «Серый и цветная капуста».

Кем бы вы хотели быть, если бы вы не были сами собой?

1869: «Моей собакой Пегасом».

1880: «Никем».

Ваши любимые поэты?

1869: «Гомер, Гёте, Шекспир, Пушкин».

1880: «Я не читаю более».

Ваши любимые художники и композиторы?

1869: «Рембрандт, Моцарт, Шуберт».

1880: «Я не смотрю и не слушаю более».

Ваши любимые герои в изящной литературе?

1869: «Джюльетта».

1880: «Г-жа Коробочка».

Кого вы больше всего презираете в истории?

1869: «Наполеона, Торквемаду».

1880: «Того, кто мешает мне спать».

Чуня теперь тоже не любит, когда ей мешают спать. Раньше была игривой и подвижной: лазила на спинку дивана, когда туда попадало утреннее солнце, брехала, стоя на летнем порожке открытого балкона, на прохожих, терзала в сексу-

альном смысле плюшевую лису и даже однажды на нее написала в порыве страсти, а теперь все больше спит. Чуня – как старый Тургенев. «Как хороши, как свежи были розы». Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Кто это, свернувшись в калачик, жметя к моим ногам? Кто это зябнет, кому это так холодно? И все они умерли... умерли...

Если бы Тургенева спросили, какую он больше всего любит на свете сладость, он бы в первый раз, наверно, написал: «Варенье из луговой клубники, которую раньше варили в имении на гуляфной (то есть розовой) воде». А через десять лет ответил бы: «Конфеты “Жена самаурая”».

Кстати, вам, наверно, интересно, что это за луговая клубника на гуляфной воде? Мне вот было интересно, я посмотрел. Это варенье из дикой клубники со слегка затхлым запахом («интересным затхлым запахом», как заметил сам Тургенев), которую тогда и варили на уже упомянутой розовой воде. Гюль – по-арабски «цветок». Чтобы сделать такую воду в домашних условиях, надо было срезать (желательно утром) побольше нежных и жирных роз; освободить их лепестки; поместить потом их в несколько слоев на дно широкой кастрюли и немного залить убитые розы водой. (Именно немного: вода только едва должна покрывать убитые розы.) Закрыть крышкой и довести все это до медленного предкипения. Помните! Вода не должна закипеть. Нет бурленьям, нет сильным страстям. Пусть булькает там понемногу.

Когда ж через час лепестки потеряют свой цвет – значит,

вода готова. Отожмите, Иван Сергеевич, отдавшие свой цвет и свою жизнь лепестки, по необходимости процедите. А теперь закройте эту жидкость в бутылку и спрячьте аромат в холодильник. (В вашем случае, Иван Сергеевич, – в подпол.)

– Ваше любимое кушанье и напиток? – спросили Ивана Сергеевича в 1869 году.

– Кофе и шампанское, – ответил он.

– Ваше любимое кушанье и напиток? – спросили Ивана Сергеевича в 1880-м.

– Все, что хорошо переваривается.

Каков ваш любимый девиз?

1869: «Пусть все идет своим путем».

1880: «Покойной ночи».

Прекрасный и честный Тургенев. Последний самурай.

Если б он жил в наше время, он завел бы себе ник *ivan080575* и писал бы свои комментарии под нашими и чужими *Fb*-постами: «Вы чем моете окна? Тряпкой и брызгалкой? У “Керхера” есть очень удобный оконный пылесос. Я им мою».

Если бы я не знал, что Чуня, когда я ухожу, спит все это время, я бы подумал, что *ivan080575* – это Чуня. По интонации.

– Чуня? – спрашиваю я у нее. – Это ты написала про конфеты на сайте?

– Что вы! – отвечает она. – Я же спала.

Ах да, совсем забыл сказать: в наших разговорах она об-

рацается ко мне на «вы», я к ней, разумеется, на «ты» – она же всего лишь собачка, хоть и говорящая.

Чуня и дядька

Я этого дядьку немного побаиваюсь. Он ходит по улицам и разговаривает сам с собой. Люди шарахаются. Никому не интересно чужое безумие. У нас свое есть. Так никто и не услышал, что он бормочет. А бормочет он следующее: «Каждый из нас Вселенная», «Каждому из нас дано несколько любовей», «Количество любовей конечно».

(Я тоже не услышал. Просто придумал сейчас. Может, он бормочет: «Когда вы все передохнете?»)

И вот я представляю, что он дошаркал до своей многоэтажки, вошел в зеленоватый подъезд, доехал до нужного этажа, открыл дверь в квартиру (бывает такой специальный запах старости и безумия, этот запах там явно есть), покормил кошку. Хотя какая кошка? Нет. Кошки нет. Этот дядька совершенно один.

(Кошка мяукнула и убралась из моего рассказа.)



Дядька, оставшийся без кошки, дома тоже бормочет:

– Людям не нравится, когда кто-то тихо говорит сам с собой. Люди боятся, что перед ними сумасшедший. Но я не сумасшедший. Я просто так живу. Я перехожу границы. Ищу трещины бытия, чтоб иногда туда провалиться. Но, вынырнув, понимаю: «Каждый из нас Вселенная», «Каждому из нас дано несколько любовей», «Количество любовей конечно». Это и говорю. Почему меня никто не слушает?

Дядька – больной. От него пахнет. Он снимает уличную одежду, свитер, рубашку, штаны. (Не смотреть на исподнее,

не смотреть!) Переодевается в домашнее. Но домашнее пахнет точно так же. Когда-то он пах яблоками и грецким орехом, иногда – молоком. Но юность ушла, молодость унесла с собой половину квартиры, бывшая жена теперь живет в Чертаново, он в Свиблово. Я снимаю квартиру на «Бабушкинской», мне 25 лет, вот и встретились. «Бабушкинская» – хороший район.

Этажом выше живет женщина. У нее муж, двое детей. Женщина хорошо готовит, но у нее роман на работе. Она никогда раньше этого не делала, да и сейчас не делает. Роман пока платонический. Зовут «роман» Виталием. И Виталий, тоже достаточно пожеванный, делает ей всякие знаки: глазки- лапки, улыбки, конфетка к чаю, прикосновения. Она влюбилась.

Кстати, сегодняшняя картошка пригорела.

В этом плюс пельменей. Они всегда получаются. Особенно если с петрушкой внутри. Отличные, надо вам сказать, были пельмени. Теперь таких не делают. Глобализация, стабильность, мелкооптовые пельмени сожрал супермаркет. Я их очень любил. Жил в съемной квартире на «Бабушкинской» и любил. Самая моя сильная любовь была. И, как и положено самой сильной любви, – уплыла.

Дядька варит уплывшие пельмени, не подозревая даже о существовании вышеэтажной женщины. А у нее драма. Им негде. Они и целовались только три раза, причем женщина очень боялась, что кто-то увидит, но ведь не школьники уже,

время-то идет – понятно, что где-то надо того-самого: башмачок со стуком на пол, жар соблазна, два крыла.

Однажды она рассказывает об этом своей племяннице.

– Света, я влюбилась.

Она говорит слишком громким голосом, сбивчиво, в восторге от собственного бесстыдства (племяннице! она же должна являть пример, и всегда являла: «Светочка, я вышла замуж и всем довольна!»), у нее некрасиво зарозовели щеки, нос еще больше удлинился, но волосы, волосы – ее гордость. Волосам не стыдно, они так же лежат густой волной. Может, он на волосы и запал?

Светочке не до тетки. Но ей смешно. Она уже жила с парнем, жила со вторым и даже с девушкой. Все эти мучения старой тетки для нее уморительны. Но потом ей становится ее жалко.

(Тут незаметно – с легким скрипом – открывается новая прореха бытия, новая щель: мироздание помнит добро, и однажды, лет через десять, Светочке тоже повезет – ее рак будет операбельным.)

Света подходит к окну (дело происходит в ее, Светиной, съемной квартире), закуривает (теперь можно, тетка уже не будет морщиться, она сама попала: запятнанный ментор – не ментор, облетели твои крылья, непорочный ангел) и говорит:

– Тетя Лена, я рада. Нет, правда. Жизнь слишком коротка.

Тетя Лена, как верный щенок, смотрит на Светочку снизу вверх. (Она сидит на кухонном табурете, Света стоит у окна

– по-другому просто и не получится.)

– Слушай, – продолжает Света. – Ну давай я дам вам ключ? Сама уйду на три часа. Потом ты его проводишь (чтоб я не смотрела, не была свидетелем, чтоб не мучило это тебя, да и мне соучастником быть не хочется), я вернусь, и ты передашь мне ключ. Или просто бросишь его в почтовый ящик.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.